

Димке Д. В.: «Исследования — одно из самых интересных занятий на свете»

В развиваемой мною типологии советских/российских поколений социологов Дарья Димке относится к младшему, седьмому, объединяющему тех, чьи годы рождения заключены в интервале 1983-1994. Специфика этой генерации наших коллег — очевидна. Первичная социализация старших из них проходила в СССР периода перестройки, а младших — уже в постсоветской России. Это поколение входило в социологию, когда она была признана в качестве самостоятельной науки, когда в стране складывалось социологическое образование. К этому времени их старшими коллегами было многое сделано в области теоретических, методологических и прикладных исследований.

Интервью с Дарьей Димке — одиннадцатое в серии бесед с представителями седьмого поколения социологов. Среди них есть исследователи с богатым опытом научных разработок и значительным стажем педагогической деятельности, есть — обладатели российских и зарубежных научных степеней. Однако было бы преждевременным говорить о «лице» этой профессиональной когорты; она все же лишь формируется, и скорее всего у нее будет множество лиц.

Для меня седьмое поколение — своего рода «знаковое», оно — последнее, которое входило в науку при жизни наиболее известных социологов первого поколения. Безусловно, лишь немногие молодые, прежде всего — учившиеся в Москве или участвовавшие в крупных социологических форумах, напрямую контактировали с Б.А. Грушиным, Т.И. Заславской, А.Г. Здравомысловым, И.С. Коном, Ю.А. Левадой, В.А. Ядовым, слушали их лекции. Но все равно, и со временем многие из них это осознают, они были частью «того» сообщества, вышли из «той» атмосферы. Пройдут годы... и как интересно будет их студентам узнать, что их профессор, преподаватель слышал выступления тех, кто создавал российскую социологию. Так устанавливается связь времен, так складывается история науки и научного сообщества.

Дарья Димке мощно одарена общей жизненной энергетикой и особым пониманием мира, непосредственно наблюдаемого и узнаваемого ею из книг мира. Она эффективно все это синтезирует, потому, наверное, легко чувствует себя в разных средах, начиная с двух с отличием законченных одновременно университетов и кончая (на данный момент, не вообще) исследованиями в социологии, антропологии, педагогике. Предметно-объектные аспекты ее работ весьма многообразны: от мостовых разных городов, до забытой богом Мишелевки в Восточной Сибири. Мне думается, что в анализе этих кейсов Дарья базируется не только на современных социологических и антропологических достижениях, но и на нравственных императивах русской классической литературы. Подобная установка возникла, зародилась в ней еще в ранней юности, вспоминая о своей учительнице, она пишет: «... для того, чтобы подготовить меня к участию в олимпиадах по литературе, моя учительница давала мне читать книги по литературоведению из своей библиотеки. Библиотека у нее была потрясающая. Именно этим путем мне в руки попал трехтомник М.Л. Гаспарова, огромная книга, посвященная анализу русской поэзии серебряного века, Е.Г. Эткинда и много чего еще. Мне хотелось понять, как «сделана «Шинель» и все остальное (а заодно что и как делают с читателем и друг с другом художественные тексты). Далее она отметила, что на филологическом факультете Иркутского государственного университета она рассчитывала встретить людей, с которыми сможет все это обсудить. Ей повезло: она встретила их. И это не только слова Дарьи, некоторых из них я знаю. Я знаю, в каком ключе они работают».



Дарье уже многое удалось сделать и в концептуальном, и в прикладном отношении. Мне бы хотелось, чтобы она продолжила свой путь и вывела бы на эту дорогу своих будущих учеников.

Борис Докторов

Семья

— Знаете ли Вы историю Вашей фамилии — Димке? Кто назвал Вас Дарьей? И вообще, насколько глубоко Вам известна история Вашей семьи?

— Я не знаю историю своей фамилии. Думаю, она относится к тем немецким фамилиям, значение которых сейчас трудно прояснить.

Имя для меня выбрала мама. Этот выбор удивил всю нашу семью (которая на тот момент состояла из папы, его родителей и сестры и ее дочери). Дело в том, что наша семья была типично советской. В том смысле, о котором писал Сергей Гандлевский: «Такие социально чуждые друг другу люди могли породиться только благодаря историческому катаклизму». Моя бабушка (польская еврейка из большой достаточно состоятельной львовской семьи) и мой дедушка (одесский немец — плод классического неравного брака из тех, что описывались в приключенческих романах: юная и прекрасная девушка из богатой семьи сбегает с не менее юным и прекрасным слугой) познакомились на лагерной пересылке в Котласе. Им повезло (конечно, помимо удачи им помогло и то, что бабушка была врачом — профессия, ценимая везде, в том числе и в лагере): на вечное поселение в Сибирь их отправили вместе. Сейчас происходит то, чего я опасалась, начиная отвечать на Ваш простой вопрос: одна нитка тянет за собой другую, и непосредственная угроза окончательно запутаться во всем этом клубке становится очевидной. Постараюсь вернуться к тому, как случилось, что девочку из немецко-еврейской семьи, где имена выбирались, в том числе, и с учетом того, существовал или не существовал немецкий аналог (так, моего дедушку звали Ойген, то есть в русском варианте — Евгений), назвали Дарья.

Семейная версия такова (вся наша семья склонна к рассказыванию историй, которые постоянно и постепенно трансформируются, поэтому вряд ли к этой версии, как и к любой другой, следует относиться серьезно, тем более что моя мама давно умерла, и ее вариант уже недоступен).

Дедушка очень хотел, чтобы меня назвали «Эльза». Но мама, обычно сговорчивая, проявила совершенно нехарактерное упрямство. Никакие просьбы, уговоры и доводы не действовали. («Не кажется ли Вам, Татьяна, — ядовито вопрошал дедушка маму, — что сочетание «Дарья Димке» звучит немного абсурд-

но?». «Нет, Евгений Карлович», — спокойно отвечала мама. Подозреваю, что недовольство дедушки было связано еще и с тем, что имя Дарья для моего поколения было довольно необычным. Нарочито русским. Впрочем, ничто не помешало дедушке называть меня «Эльза», а тетушке, которой имя Дарья казалось вычурным, — «Маруся».

История моей семьи мне почти не известна. Ни бабушка, ни дедушка не любили вспоминать свою довоенную и досельскую жизнь, а я предпочитала их об этом не спрашивать. Конечно, кое-что я знаю, но это осколки и обломки, которые не сложить в целое.

— Итак, Ваша бабушка по отцовской линии была врачом, кем был дедушка? А что Вы знаете о семье Вашей мамы? Кто по профессии, роду деятельности Ваши родители?

— До войны дедушка был студентом математического факультета Одесского университета. После (уже в ссылке) работал учителем в селе. В реалистических романах конца девятнадцатого века можно встретить словосочетание «прислуга за все». Оно означает, что семья недостаточно богата, чтобы нанять несколько слуг, и вынуждена довольствоваться одной женщиной, которая выполняет функции кухарки, посудомойки и горничной. Дедушка был «учителем за все». Он учил математике и черчению, немецкому языку и рисованию. После, когда мой папа перешел в старшую школу, а тетушка поступила в университет, дедушка прошел по конкурсу и получил должность заведующего кафедрой романо-германских языков в Иркутском политехническом университете (позже он станет доцентом, кандидатом наук). Кроме того, дедушка относился к той разновидности людей, которые могут все: собрать из подручных материалов атомную подводную лодку и построить дом, собирать ягоды и выращивать овощи, вырезать надписи на памятниках готическим шрифтом и выстругивать свистульки из ивы, переводить с немецкого, выучить собаку охотиться и научить играть в шахматы кого угодно. В детстве и бабушка, и дедушка казались мне не совсем людьми, поскольку их отношения с окружающим миром (от дома до леса) были какого-то другого уровня, чем у прочих. Мир их слушался (это касалось как каши на плите, которую бабушка всегда варила по вторникам, так и проруби, в которой дедушка зимой ловил рыбу), и они могли договориться с ним о чем угодно.

Про семью мамы я знаю очень мало. Мама приехала в Иркутск из Ульяновска. Возможно, она выбрала этот город потому, что здесь уже училась ее старшая сестра. Поступила на филологический факультет университета, окончила его. Устроилась работать на только что открытую кафедру русского языка как иностранного (в политехническом университете; он нуждался в такой кафедре, поскольку в семидесятых-восьмидесятых там училось довольно большое количество иностранцев) и поступила в аспирантуру в Ленинградский государственный университет (она писала диссертацию по лингвистике, посвященную языковым особенностям геологических терминов; как ни странно это звучит, но, кажется, это было увлекательно — мой папа, максимально далекий от науки человек, с большим интересом помогал маме составлять картотеку и мужественно продирался сквозь этимологические словари). Диссертацию дописать мама не успела, она умерла в командировке в Северобайкальске.

Папа окончил Кировоградское летное училище, довольно долго работал штурманом, потом поступил на авиационный факультет и немного преподавал. С мамой они познакомились на танцах, которые каждую неделю устраивали в общежитии политехнического университета, где маме, как молодому сотруднику, дали комнату. Папа попал туда совершенно случайно, общежитие, где жила мама было совсем недалеко от нашего дома. И, кажется, каким-то летним вечером папа просто зашел на

звук музыки.

— **Где все описываемые Вами события происходили?**

— В Иркутске.

— **Теперь вспомним Ваши школьные годы.**

— В школу меня отдали в шесть лет. Конечно, там было лучше, чем в детском саду (не нужно было, по крайней мере, спать днем), но совсем не так, как я себе представляла. Наша первая учительница имела множество наград и была старым опытным педагогом. Это значило, что к концу третьего класса все ее ученики аккуратным почерком писали диктанты, назубок знали таблицу умножения и свободно ориентировались в биографии Ленина. Она была хорошей учительницей, мы все — так же, как и многие поколения до нас, — овладели этими навыками. Кроме того, большинство из нас любили читать, смотреть мультики и носиться по окрестным дворам, гаражам и улицам. Когда мы перешли в пятый класс, большая часть наших девочек, по самым разным причинам, перешла в другие школы или классы. Так получилось, что на двадцать мальчиков нас осталось всего пять. Нашим классным руководителем стала преподавательница русского языка и литературы, немолодая, невысокая женщина, в которую мы все влюбились за первые десять минут первого урока. Это чувство было для нас совершенно новым, нашу первую учительницу можно было только бояться и уважать. Успеваемость по русскому и литературе невероятно возросла. Кроме того, мы ходили в походы и театры, устраивали общие праздники по поводу и без и, кажется, жили той самой школьной жизнью, которую живописали советские детские фильмы. Екатерина Степановна умерла в начале следующего учебного года. Она иногда болела, но мы не знали, что так серьезно. До этого мы почти не думали, о том, что кто-то, имеющий непосредственное отношение к нам, может умереть. Оказалось, очень даже может.

Как-то к нам в гости пришла наша тетушка (мамина сестра). Она не часто у нас бывала, мы с братом даже немного ее побаивались. Всю свою жизнь она работала в средней школе — сначала учителем, потом завучем. Речь зашла о моей дальнейшей судьбе, и тетушка предложила перевести меня в гуманитарный класс. На следующее утро она позвонила директору нашей школы, с которым была знакома, и вопрос был решен.

Новый класс поначалу казался не самым дружественным местом. Одноклассники были людьми умными, но их отношения, на фоне тех, что были у нас, казались мне чересчур взрослыми и сложными. Классной руководителем тоже была учительница русского и литературы. Молодая, красивая и очень холодно смотревшая на меня первые несколько недель (класс учился по особой программе, у них не было учебников литературы, все тексты читали в полном объеме, учительница опасалась, что я не справлюсь). Она оказалась блестящей учительницей, но совсем не такой, как Екатерина Степановна. Екатерину Степановну любили, ее обожали. Программа по литературе очень мне нравилась, учительница и одноклассники через некоторое время смирились с фактом моего существования. «Все не так плохо, — думала я, — когда слишком сильно скучала по прошлому году. Совсем не так плохо».

Кроме литературы, мне нравилась история и МХК¹. Я по-прежнему любила читать все подряд и бегать по гаражам. Время от времени меня записывали в какие-то кружки, но у меня лучше получалось танцевать дома, а не у станка, рисовать фломастерами, а не красками (и драконов, а не какие-то засушенные цветы), а к швейной машинке я предпочитала не подходить вообще. Разве что кружок мягкой игрушки мне нравился. Совершенно невероятным образом Галине Васильевне удалось научить меня аккуратно шить (это было поистине титаническая задача, поскольку у меня были проблемы с мелкой моторикой и усидчивостью одновременно). Шить игрушки было весело, к тому же мы во время этого процесса все время пели, а петь я очень любила.

¹ Мировая художественная культура — в некоторых школах в начале девяностых годов ввели такой предмет.

К старшим классам школы обнаружилось, что я люблю только три предмета — литературу, немецкий и историю. Зато так сильно, что могу побеждать в олимпиадах по литературе. Моя учительница занималась со мной отдельно и за отстаивание чести школы мне прощали многое (в том числе и пропуск занятий, не говоря о ставших к старшим классам более чем прохладными отношениях со всеми остальными предметами).

— **И все же старшие классы... какие мысли о будущем?**

— Свои соображения по поводу моего будущего имели все члены моей семьи, кроме меня. Соображения эти были подчинены разной логике, характер которой определялся личными склонностями каждого. Дедушка хотел, чтобы я поступала на Восточный факультет и занималась языками, бабушка — чтобы попробовала поступить в медицинский, тетушка мечтала о том, что я стану искусствоведом, а брат полагал, что я буду прекрасным учителем. Единственным человеком, который ничего не думал по этому поводу, была я. Мне нравилась этология (случайно прочитанный Конрад Лоренц и Тинберген) и философия (не менее случайно встреченные Камю и Шопенгауэр), история (непреходящая любовь к Вальтеру Скотту и первой попавшейся популярной литературе в самом широком диапазоне) и книжки по литературоведению. Медицина мне тоже нравилась, но здесь было два равно непреодолимых препятствия: необходимость что-то препарировать и курс химии, который нужно было освоить. Степень вероятности в обоих случаях стремилась к нулю. Я не слишком много времени посвящала размышлениям о будущем, потому что была слишком занята настоящим. Все изменилось сразу и навсегда 30 апреля 1999 года. Дедушка умер. В больнице, куда его отвезла скорая, от второго инфаркта. Нам всем было плохо, и это длилось очень долго. Тот май — мой последний школьный месяц — просто прошел мимо. Я поступила туда, куда меня как победителя областных олимпиад по литературе брали без экзаменов, — на филологический факультет Иркутского госуниверситета. Тот самый, который когда-то заканчивала моя мама.

Факультеты

— **Поле филологии — огромно, что Вас, если не сразу, то постепенно, привлекало?**

— Несколькими вещами. Во-первых, то, что, насколько бы огромно поле филологии не было, туда не входили физика, химия и алгебра. Во-вторых, основное, что там нужно было делать (по крайней мере, так мне тогда казалось) — это читать. В-третьих, для того, чтобы подготовить меня к участию в олимпиадах по литературе, моя учительница давала мне читать книги по литературоведению из своей библиотеки. Библиотека у нее была потрясающая. Именно этим путем мне в руки попал трехтомник М.Л. Гаспарова, огромная книга, посвященная анализу русской поэзии серебряного века, Е.Г. Эткинда и много чего еще. Мне хотелось понять, как «сделана «Шинель»» и все остальное (а заодно что и как делают с читателем и друг с другом² художественные тексты). В-четвертых, я совершенно не понимала, как устроен русский язык, но после книги «Слово о словах» Л. Успенского, жаждала это выяснить. И, наконец, в-пятых, я рассчитывала встретить людей, с которыми я смогу все это обсудить.

— **Если девушка уже при поступлении на филологический факультет в той или иной мере знает работы Гаспарова, Успенского, Эткинда и стремится все это обсудить, то ей или очень легко учиться, или безумно сложно. Как оказалось на самом деле? Если Вам удалось понять, как «сделана «Шинель»», пожалуйста, расскажите, как.**

— Учиться было интересно. Я не очень хорошо понимаю,

что имеют в виду, когда говорят «учиться будет сложно». Большое количество работы? Но если тебе что-то нравится, то ты сам себя и обеспечишь этим количеством. Уровень профессионализма преподавателей не всегда соответствует твоим ожиданиям? Но ведь, в сущности, университет — по большей части самообразование с незначительными (хотя и не всегда приятными) препятствиями в виде зачетов, экзаменов и курсовых. Правда, к третьему курсу число интересных преподавателей сократилось, но, во-первых, к этому времени я знала уже не только о том, «как сделана шинель», но и о многом другом, столь же увлекательном: исторических корнях волшебной сказки, структурной лингвистике, фонеморфемном принципе русской орфографии... С обсуждением всех этих захватывающих материй было несколько хуже, но через некоторое время я познакомилась с людьми, которые компенсировали этот недостаток. Правда, большинство из них не имели никакого отношения к филологическому факультету, но это было неважно. К тому же к третьему курсу я обзавелась вторым университетом и тремя работами.

Мне хотелось узнать не только «как сделана «Шинель»», но и как сделана литература, каким образом определенные тексты заставляют читателя чувствовать определенные вещи или наталкивают на определенные мысли. А еще больше мне хотелось узнать, какие вещи из тех, что чувствует читатель современный, совпадали с теми, что чувствовали современники автора. Текст сам по себе интересовал меня больше, чем его восприятие мной. По той простой причине, что мое восприятие было явно обусловлено моим опытом. Но вот как этот текст читали те, для кого он был непосредственно написан, какие мысли вкладывал в него автор, как он работал в то время, когда был создан, — именно на эти вопросы мне хотелось получить ответы. Что касается собственно «Шинели», как раз к этой повести я была в то время достаточно равнодушна. Намного больше мне нравились «Мертвые души», а еще больше — «Господа Головлевы» и «Братья Карамазовы» (впрочем, здесь пора остановиться, поскольку мне слишком многие тексты нравились «намного больше»).

Во второй университет я поступила благодаря моей тетушке. Точнее не благодаря, а для. Тетушка очень хотела, чтобы я стала искусствоведом. Сама тетушка была химиком-ядерщицей, любительницей чтения и, в общем, относилась именно к тому типу женщин, которых принято называть «интеллигентными». Тетушка воспитывала нас. Вместе с бабушкой и дедушкой она была самым важным человеком в нашей с братом жизни. Поэтому, когда она узнала, что на искусствоведческом отделении факультета изобразительных искусств открыли экстернат, моя судьба была решена. В то время я училась на третьем курсе университета. Предполагалось, что занятия во втором будут проходить по выходным и занимать целый день. Так что теперь мои выходные должны были быть посвящены прекрасному во всем его разнообразии.

Прекрасного, и правда, оказалось много. Помимо тех предметов, которым были посвящены лекции и семинары, прекрасное явило себя в виде моих сокурсников и преподавателей. Сокурсниками, вернее сокурсницами, были дамы за тридцать, сорок и далее. Большая часть из них преподавала в художественных школах в небольших городах и поселках, окружавших Иркутск. Их жизненный и профессиональный опыт наложил отпечаток как на их поведение, так и на их восприятие искусства. Мне было очень интересно с ними, они рассказывали про учеников и жизнь, про краски и погоду, про мужей и любимых художников. Они были увлеченными, усталыми, веселыми и иногда циничными. Они с подозрением относились к разному «авангарду и современному искусству», но у них всегда были с собой пирожки и они всегда подмечали совершенно нежиз-

² Речь идет о литературных текстах как о замкнутой и саморегулирующейся системе: влияниях, отсылках, языковых играх, заимствованиях, взаимодействиях жанровых и стилистических канонов.

данные для меня вещи (вроде того, что Христа на французских миниатюрах всегда можно опознать по рубашке в цветочек и что блудного сына, конечно, изображали все, но только Рембрандт выбрал момент его возвращения). Преподаватели тоже обладали собственным родом «прекрасности»: некоторые (точнее, если честно, одна) были просто отличными специалистами с непередаваемо чудесной манерой повествования (если вы представите, что в Эрвина Панофского вселился дух Хармса, вы получите примерно представление об этой манере), некоторые были просто увлечены предметом своего исследования и поэтому им редко удавалось рассказать то, что мы должны были узнать в соответствии с учебным планом, зато уж об их предмете (например, об археологии) мы узнавали все. В общем, я проводила выходные с большой пользой и удовольствием, хотя вряд ли происходящее имело хоть какое-то отношение к высшему образованию.

В свободное от университетов время я занималась работой. Точнее работами. Еще точнее — тремя. Все они были в равной степени увлекательны, чреватые огромным количеством нелепых ситуаций и, кажется, связаны с тем, что принято называть «педагогическая деятельность». Самую большую часть моего времени занимал Тим. Тиму было семь, и он был хорошим человеком. Мы виделись каждый день (кроме выходных, хотя и в выходные иногда тоже). Собственно, наши дни были устроены следующим образом. Я возвращалась из университета, заходила за ним в школу, потом (в зависимости от времени года это занимало разное количество времени) мы шли домой. По дороге мы разговаривали о разных вещах. Иногда Тим поднимал очень сложные для меня темы. Например, однажды, после того, как накануне я познакомилась с адаптированной мной же версией «Божественной комедии» (вообще-то я этого не планировала, просто случайно оставила свою книжку у него в комнате), он спросил меня о том, чем его займут в аду. Дома мы бросали сумки-рюкзаки и начинали готовить обед. К этому занятию мы были не приспособлены практически в равной мере. Поэтому родители Тима оставляли нам пельмени, вареники или что-нибудь такое, что нужно было только разогреть. После обеда мы или делали уроки (он свои, я свои), или шли гулять, или читали вслух. Иногда мы читали то, что выбирал Тим, иногда то, что я, а иногда то, что мне все равно надо было прочитать для семинаров по зарубежной литературе (так мы освоили древнегреческие мифы, ирландские саги, скандинавский эпос, «Энеиду», «Песнь о Нибелунгах» и «Божественную комедию»). Когда его родители возвращались, я отправлялась домой. Иногда мы проводили вместе и часть лета (если я уезжала вместе с Тимом на дачу). Дача стояла около берега Байкала. Мы купались, ходили в лес и торговали малиной. Вернее, малиной торговал Тим, потому что хотел купить себе игровую приставку, но ни я, ни родители не поддерживали этого начинания. Поэтому Тим собирал на участке малину, и мы вместе отправлялись на дорогу, где местные дети и взрослые продавали продукты сельского досуга проезжающим мимо.

Вторая моя работа занимала один (зато целый) день в неделю (конечно, не считая времени на подготовку) — я читала лекции по зарубежной литературе студентам художественного училища. Я была на третьем курсе университета, и большая часть студентов была старше меня на несколько лет. На моей первой лекции мы со студентами долго искали друг друга, поскольку они не знали, как я выгляжу, а аудиторию нам внезапно поменяли. У меня было три курса, каждый из которых оставался на своем историческом периоде (античность, возрождение, романтизм). Про каждого студента (благодаря подруге, которая учила их два года, а с некоторыми занималась еще на подготовительных курсах) я знала практически все. Так что, в отличие от них, была в выигрышном положении. Эта работа оказалась совершенно чудесной, мне нравилось все — готовиться к лекциям, придумывать семинары, курить в специальной потайной комнате на чердаке. Эта была захватывающая ра-

бота, потому что студенты задавали самые неожиданные на свете вопросы. Это была очень смешная работа, потому что я никогда не знала, что они сдадут в качестве эссе (комикс по мотивам «Царя-Эдипа», эскизы к «Щелкунчику», размышления о сходстве Брехта с Пелевиным или набор слов, в который можно вложить любой смысл).

Третьей работой была работа в школе. Пожалуй, она была самой сложной. Потому что в школе нужно было как-то взаимодействовать не только с детьми, но и с разного рода отчетностью и педагогическим составом. И отчетность, и педагогический состав вызывали у меня много вопросов. Боюсь, что я у них вызывала не меньше. Дети вопросов не вызывали, они их задавали. Причем вопросов было великое множество, и они были самыми разнообразными. Самые неожиданные были связаны со школьной программой по литературе. Я сама до сих пор искренне недоумеваю, кому пришло в голову в учебник по литературе для пятого класса вставить отрывок из «Руслана и Людмилы» с прекрасными и загадочными для пытливого десятилетнего ума строчками «падут ревнивые одежды на цареградские ковры», а также как этот человек планировал объяснить их значение любознательным пятиклассникам. Подозреваю, что это был тот же самый человек, который решил украсить жизнь шестиклассников чтением «Бежина луга». Если бы люди одиннадцати лет массово страдали бессонницей, то он бы получил нобелевскую премию за свое открытие. Жаль, что этого человека не было рядом со мной, поэтому мне приходилось выкручиваться самостоятельно. И, конечно, работа в школе не может ограничиться исключительно передачей знаний. То есть ты планировала научить людей правильно писать безударные гласные, однако уже месяца через три ты обнаруживаешь ешь пять — ты в курсе всех их домашних проблем, через семь — готов убить некоторых из их родителей, а через десять — ты понимаешь, что обучение правописанию, оказывается, связано с такими вещами, как любовь, ответственность, ярость и бессилие.

— Чем все это завершилось? Какое образование Вы в конце концов получили? По какой теме (каким темам) вы делали выпускное исследование (выпускные исследования)?

— Все это завершилось двумя дипломами. Оба диплома я защитила в один год, оба были связаны с тем, как взрослые работают с детством, какие образы выстраивают, что считают для детей приемлемым, что нет и почему. Первый — филологический — назывался «Смерть как животворящее начало в детской литературе двадцатого века». Меня долгое время мучил вопрос, почему у детских писателей века двадцатого, принадлежащих разным культурам, герои-дети так часто умирают. Причем именно процесс переживания смерти/перехода/воскрешения становится центральным в книгах для детей. И почему этот процесс описывается таким образом, который, как выяснилось уже в процессе исследования, перекликается с определенными фольклорными жанрами. В фокусе дипломного исследования были две повести А. Линдгрена — «Мио, мой Мио» и «Братья Львиное сердце» и несколько повестей В. Крапивина («Застава на Якорном поле», «Гуси-гуси, га-га-га» и что-то еще).

Тему второго исследования я помню смутно, она была связана с тем, как принято изображать «ужасное» и «страшное» в иллюстрациях к детским книгам. Так что я получила два образования — искусствоведческое и филологическое.

— Даша, я провел уже свыше 130 интервью, но подобного у меня не встречалось; два образования — есть, но они были получены скорее последовательно, чем одновременно. Итак, если Вы поступили в университет в 1999 году, то в 2004 году с двумя высшими образованиями перед Вами стояла непростая задача: что дальше? Как Вы ее решали, как решили?

— Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуть-

ся на пять лет назад и написать о моем знакомстве с Михаилом Яковлевичем Рожанским. Я познакомилась с ним в старших классах, он вел у нас тренинги по философии. Ни до, ни после я не видела настоящего философа. Такого, для которого философия была бы образом повседневного существования, такого, который мог показать, что значит думать и как это делать. То, что он показал нам, было, как я поняла после, совершенно сократическим способом мысли и диалога. Тем летом, когда умер дедушка, и я поступила в университет, Михаил Яковлевич предложил мне работу. Работа казалась (и оказалась) невероятно увлекательной. Я стала гувернанткой его сына — прекрасного человека семилетнего возраста. Мы чудесно проводили вместе большую часть дня и года. И, конечно, мы очень тесно общались с Михаилом Яковлевичем. В 2002 году Михаил Яковлевич (под эгидой питерского ЦНСИ) создал в Иркутске Центр Независимых Социальных Исследований и Образования (ЦНСИО). Он рассказывал о его работе, о тех исследовательских проектах, которые там появлялись. И в один прекрасный день предложил мне написать небольшую статью для сборника «Байкальская Сибирь. Фрагменты социокультурной карты». Статью мы написали вдвоем с моей подружкой Екатериной Боярских. Она называлась «Иркутские граффити. Война на стенах». Конечно, это была никакая не статья, а просто небольшое эссе. Писать оказалось страшно увлекательно.

Летом иркутский и питерский центры начали проект по изучению российско-монгольского пограничья. Основным полем стала Кяхта. Я приехала туда вместе с Тимом, но успевала участвовать в некоторых семинарах, общаться с питерскими коллегами и чудно проводить время. Питерские коллеги совершенно поразили меня следующим: я никогда не видела людей, настолько увлеченных своей работой. Кроме того, я никогда не видела, как люди работают в поле. Большинство из них закончили Европейский университет в Санкт-Петербурге. Кажется, Олег Паченков рассказал мне про факультет антропологии и посоветовал попробовать туда поступить. Я попробовала. И поступила.

— Расскажите о годах учебы в ЕУ. Кто вам читал лекции? Какую тему, какое направление исследований Вы выбрали? Кто был Вашим консультантом?

— На факультете антропологии было три направления — антропология, социолингвистика и фольклористика. Когда я поступала, то знала только две вещи. Первая — я хочу заниматься антропологией (то есть тем, что я тогда представляла под этим словом, представление мое было небогато, поскольку выросло из трех книг — «Взращение на Самоа» Маргарет Мид, «Хризантема и меч» Рут Бенедикт и трудов Кастанеды). Вторая — антропологией детства (а вот что я понимала под этим словосочетанием, вспомнить чрезвычайно трудно). На всякий случай я решила прослушать как можно больше курсов. Я выбрала практически все, что предлагали на факультете, исключив только связанные с фольклором, зато взяв несколько курсов на факультетах социологии и истории. Это было хорошее время — год, полностью проведенный в библиотеке, год, за который, благодаря курсам А.К. Байбурина и Ю.Е. Березкина, я прочитала практически всю антропологическую классику, узнала о социолингвистике, благодаря курсам Н.Б. Вахтина и Е.В. Головки, а кроме того, благодаря курсам И.В. Утехина, окончательно укрепила в мнении, что заниматься исследованиями — одно из самых интересных занятий на свете. С темой своего исследования я определилась примерно к середине первого года обучения. Меня интересовало несколько вещей — утопические проекты, практики воспитания в разных обществах, «оттепель» и советские педагогические эксперименты (от коммун Макаренко и Щацкого до «Каравеллы» Крапивина). Предмет исследования, который позволил бы думать обо всех этих вещах сразу и с разных сторон, нашелся довольно быстро — «Коммуна юных фрунзенцев» и «коммунарское движение». Руководить моим исследованием согласился

И.В. Утехин. Сейчас я понимаю, что мой выбор был классической иллюстрацией положения, в котором оказываются многие — «достаточно острые зубы, чтобы отгрызть интересный кусок, но недостаточно крепкие, чтобы его прожевать». В тот счастливый момент, когда я придумала тему, я даже не подозревала, насколько увлекательные годы, полные тренировки зубов, ждут меня впереди.

Исследования

— Как дальше развивалась ваша профессиональная жизнь?
 — По классической схеме: библиотека, интервью, библиотека, архивы, библиотека, мемуары... И так на протяжении нескольких лет. Конечно, с перерывами на другие исследовательские проекты. Было очевидно, что, чтобы понять особенности коммунарского движения, нужно сравнить его с пионерским. Однако исследований, посвященных пионерскому движению, тогда (в начале двухтысячных) было мало. Это касалось не только практик пионерской организации, но и его истории. Другими словами, прежде чем заняться тем, что интересовало меня, мне предстояло выяснить все, что касалось контекста. После того как я сделала это, можно было приступать к сравнению с похожими практиками других обществ. Именно в тот момент я обнаружила, что помимо очевидных сходств с некоторыми пионерскими ритуалами (которые, в свою очередь, принято сравнивать с ритуалами гитлерюгенда), коммунарские практики были практически идентичны тем, что существовали в некоторых кибуцах и коммунитарных (например, толстовских) общинах. И ответить на вопрос, каким образом это сходство могло возникнуть и что его объясняет, было гораздо сложнее, чем объяснить сходство пионерской и нацистской систем социализации. Для антропологического исследования, в отличие от социологического, сравнение разных обществ чрезвычайно важно именно в силу того, как в антропологии ставится вопрос и каким образом на него получается ответ. Антрополога интересуют некоторые константы, характерные для человеческих обществ, и антропология верит в существование этих констант. Является ли такой константой «переходный возраст»? Если является, то он должен быть характерен как для современного американского общества, так и для общества Самоа. Другими словами, как для общества простого, так и для общества сложного. Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, антрополог должен отправиться в экспедицию (как это сделала М. Мид, которую, в том числе, интересовал «переходный возраст»). В моем случае, поскольку речь шла о прошлом, — это была экспедиция в библиотеку. Общества, в которых возникали системы, напоминающие коммунарскую, объединяло то, что это были общества (или сообщества), которые пытались воплотить утопический проект. Обществам утопического проекта были присущи особые практики и технологии воспитания, особое отношение к ребенку, к детству, которые отличались от характерных для обществ либерального проекта. Кроме того, есть еще один важный момент: то, как действовали члены обществ и сообществ утопического проекта, в корне отличалось как от действий, обычно концептуализируемых через понятие «ритуала», так и от действий, определяемых через понятие «практики». Так что следующий мой шаг был связан с тем, чтобы как-то разобраться с этими действиями — определить и концептуализировать их.

— И Вы сделали это шаг? Что получилось? Я не очень хорошо знаю процесс подготовки специалистов в ЕУ: это было движение в сторону магистерской степени или кандидатской?

— Магистерскую я защитила в Европейском несколько лет назад, в самом начале исследования. В Европейском нет совета, поэтому выпускники должны сами искать возможности для защиты кандидатских. Для меня это очень сложно, потому что я практически не способна собирать справки, переделывать текст под заданный формат и делать еще много всего, что необходимо для защиты кандидатской диссертации. Возможно,

когда-нибудь я приобрету эту способность, но пока ничего не получается. Кроме того, очень жалко времени, которого никогда не хватает. Поэтому я предпочитаю просто работать дальше над своими исследованиями.

А до того шага, о котором шла речь выше, было еще несколько лет. Я его сделала. Получилось исследование, которое чрезвычайно трудно защитить как кандидатскую диссертацию по социологии в России. По множеству причин (об одной из которых я писала выше, а на прочих мне не хочется подробно останавливаться). В итоге у меня получилось что-то вроде рукописи книжки о воспитательных технологиях внутри утопических сообществ на примере Коммуны юных фрунзенцев. Я даже название придумала. Вернее, первую его часть мне подсказал после того, как прочел рукопись, мой друг Сергей Шмидт: «Незабываемое будущее: детство внутри утопии». Мне было очень интересно ее писать, не знаю, будет ли так же интересно ее читать.

— **Антропология детства осталась Вашей главной темой?**

— Нет, параллельно возникали другие исследовательские сюжеты. Думаю, что условно их можно разделить на три части. Первая связана с антропологией времени. В 2008 году мне предложили поучаствовать в проекте по исследованию бедности на постсоветском пространстве, и я согласилась. По двум совершенно ненаучным причинам. Во-первых, в этом проекте, который шел уже два года, участвовали мои друзья. Во-вторых, моя голова явно нуждалась в переключении. Когда информация собрана (а по моему проекту, связанному с детством и утопией, она была собрана), мне нужно время, чтобы дать мозаике сложиться. Так что летом 2008 года я отправилась в поселок городского типа Мишелевка, который расположен в Восточной Сибири, недалеко от города Усолье-Сибирское.

Теперь, спустя некоторое количество лет, научных статей и художественных текстов, исследовательских и практических проектов, работ и путешествий, я могу с уверенностью сказать: это было самое тяжелое поле в моей жизни. Поселкообразующее предприятие — фарфоровый завод, на котором работала большая часть жителей поселка и который обеспечивал всю инфраструктуру — закрылось еще в начале девяностых годов. Другой работы в поселке не было. Поселок медленно разрушался, но люди продолжали там жить. Я попала в другой мир со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этом мире были иные представления о долге и гигиене, о работе и воспитании детей, о пространстве и времени. Эти представления настолько не совпадали с привычными мне, что способность удивляться пропала почти сразу. Такого мира просто не могло быть, все в нем было перевернуто с ног на голову. Люди, годами сидящие без работы и денег, живущие на пенсии своих родителей, предпочитали не экономить, а сразу тратить полученное в ближайшем магазине на полуфабрикаты, а потом вместе с детьми сидеть на картошке. Молодежь при первой возможности покупала мобильные телефоны, на которые никогда не клали денег. Девочки одного за другим рожали детей, хотя ни у одной из них не было постоянного источника дохода (как не было его у их родителей), а у многих — мужа. Приусадебные участки мало кто обрабатывал, хотя, казалось бы, они могли стать важной частью дохода семьи. Юноши, которых из-за слабого здоровья не брали в армию, время от времени кончали жизнь самоубийством. Соседи практически не общались друг с другом...

Для того чтобы узнать все это (и многое другое, настолько же неожиданное, но неочевидное), нужно было прожить в поселке достаточно долгое время. Нужно было гулять по улицам и наблюдать за тем, как изменилось пространство поселка, как бабушки конкурируют за место на лавочках с молодыми людьми, как дети захватывают улицы, сквер и все те места, которые когда-то принадлежали взрослым, а сейчас опустели, как люди на улицах едва здороваются друг с другом... Нужно было заходить в магазины и следить за тем, что, когда и как покупают. Нужно

было пытаться брать интервью, что получалось далеко не всегда, не потому что люди не хотели разговаривать (хотя и это случилось), но потому что у них просто не получалось рассказать о своей жизни как о связанной истории и они могли только отвечать на конкретные вопросы. Иногда нужно было пить чай, в котором плавали мухи, потому что тех, кто нас эти чаем угощал, ничего не смущало и они пили такой же... И много чего нужно было еще.

Одно из ключевых понятий как для антропологов, так и для социологов — сообщество. Мы часто забываем, что то, что собирает сообщество, — это время, общее время. Так вот, все, что мы наблюдали, совершенно недвусмысленно свидетельствовало — поселок утратил общий временной ритм, его жители живут в вечном настоящем (потому что утратили навык планирования) и вечном одиночестве (потому что событий, общих для всех — вроде утреннего подъема на работу — нет). Именно поэтому все действия, связанные с планированием времени — экономия денег, планы, касающиеся своей судьбы и судьбы своих детей, — им не удаются (или удаются совершенно особым образом). Они не могут справиться с одной из ипостасей времени, а именно с будущим. Бедность как постоянное состояние определенно оказалась связанной с категорией времени. После того как мы это поняли, оставалось ответить еще на один вопрос, каким образом это получилось? Если очень кратко, то наш ответ сводился к следующему: в Мишелевке время создавалось градообразующим предприятием, работа которого регламентировала повседневность (время подъема и рабочие часы, праздники и будни). Когда оно исчезло, люди остались не просто без средств к существованию, они остались без временного ритма и без навыков, которые позволили им со временем справиться. Совершенно имперская по своей сути советская модель освоения пространства страны и ее ресурсов строилась через создание особого времени сообщества, заданного производством. Что, во всех своих скорбных последствиях, стало очевидно, когда ее механизмы развалились. Эта модель производила не только сырье и ресурсы, она производила особого типа сообщества, которые после ее краха превратились в янтарные капсулы вечного настоящего.

Вторая часть моих исследовательских сюжетов располагалась где-то в условном пространстве между антропологией памяти и антропологией вещи. Встреча с этими сюжетами произошла при следующих обстоятельствах. Мой друг Виктор Вахштайн, кажется, в 2008 году пригласил нас, меня и Таню Гребенщикова, на летнюю школу, посвященную урбанистике. Школа была междисциплинарной (в ней участвовали социологи, архитекторы, антропологи и дизайнеры) и проходила в Одессе. Пожалуй, из всех школ, в которых я участвовала, эта была самой интересной. Возможно, потому, что эта была единственная школа, на которой нужно было писать. Участники должны были выбрать какую-нибудь тему, связанную с городом, и придумать дизайн исследования. Об нашу тему мы буквально споткнулись: нас заинтересовала мостовая и тот тип городского пространства, который это покрытие могло создавать. Кроме того, нас волновал ответ на вопрос, каким образом в советской (и постсоветской) культуре появилось представление о том, что именно мостовая, наряду с черепичными крышами, узкими улицами и старыми церквями, — обязательная часть старого европейского города. Ни одна туристическая брошюра и путеводитель, ни один отчет путешественников и путевой дневник не обходились без упоминания «об узких мощеных улочках». Через некоторое время фраза «узкие мощеные улочки» начала нам снится. С этим нужно было срочно что-то сделать. Как мы знали по опыту, единственное, что может избавить нас от этого — ответ на вопрос, как это случилось.

Еще один удививший нас факт состоял в том, что именно вокруг мостовой в таких городах, как Львов, Одесса и Калининград, возникали скандалы. Время от времени в городских сообществах и местной прессе вспыхивала паника по поводу того, что старую мостовую продают по совершенно баснословным

ценам на Запад, лишая город его памяти и наследия. Каким образом и почему мостовая превратилась в условный маркер европейского пространства, какую память в такой объект можно вписать и почему дорожное покрытие вдруг стало восприниматься как антикварный товар — ответы на эти вопросы требовали решения, которое мы и стали искать.

Начать явно следовало с попытки определения того, в чем состоит специфика мостовой как одного из объектов, который создают пространство «старого города». Если упрощать, то эта специфика сводилась к следующему: мостовую, в отличие, например, от дома, можно было перемещать (разобрать в одном месте и положить в другом); именно этим объяснялись слухи о том, что один город может купить мостовую у другого. Кроме того, мостовая была своего рода универсальным «местом памяти»: в отличие от зданий, она не отсылала ни к какому конкретному периоду истории города, а была знаком «истории» в целом. Не всегда точно известно, где был или не был конкретный исторический персонаж — однако при наличии мостовой вполне достаточно того, что он точно был в этом городе. Причем, поскольку мостовая, благодаря своим материальным свойствам, воспринималась как знак «истории в целом», то события и персонажи могли быть любыми. Мостовая оказалась идеальным предметом для конструирования любой идентичности, связанной с актуальным для конкретного человека или сообщества персонажем, событием или периодом европейской истории. Таким образом, нам предстояло понять, какая память при помощи мостовой актуализируется на постсоветском пространстве сегодня.

Проанализировав огромное количество русских путеводителей, туристических буклетов и отчетов о путешествиях, мы с удивлением обнаружили, что в том случае, если речь идет о европейском городе, мостовая упоминается в обязательном порядке. Другими словами, служит одним из основных маркеров европейского пространства как такового. Само по себе это удивительно, в большинстве европейских городов мостовая действительно сохранилась и ее тщательно оберегают, удивительно было другое: мощение есть не только в европейских городах. При этом в русских материалах, которые были посвящены «восточным» городам, мостовая практически не упоминалась.

Особенность восприятия Европы советским человеком состояла в том, что он не мог сравнить культурно сформированный образ европейского города с собственными впечатлениями о нём. Визуальный образ «европейского города» для большинства советских граждан формировался, главным образом, кинематографом. При этом «Европу» играли, как правило, советские «западные» города — Рига, Вильнюс, Таллинн, Львов. Каждый из этих городов «играл» условное европейское пространство. В данном случае «европейское» означало максимально непохожее на привычное, то есть советское. Одной из важных визуальных доминант в архитектурном облике этих городов была мостовая. Мостовая стала в советском кинематографе одним из основных маркеров «европейского города», а поскольку советский человек не мог сравнить кинематографический образ Европы с Европой реальной, кинематографический образ стал восприниматься как реальный —

его нечем было проверить, и ему не с чем было конкурировать. Так мостовая из неперемного кинематографического атрибута превратилась в неперемный атрибут «настоящей» Европы.

Когда у граждан бывшего Советского Союза появилась возможность увидеть Европу, образ Европы у них уже был. Причем этот был образ Европы в целом: они знали, как должен выглядеть европейский город, знали, что они должны там увидеть. Образ Европы, созданный советским кинематографом, стал призмой, через которую начала восприниматься Европа как таковая. Когда туристы в своих отчетах пишут о том, что Львов — это «настоящая Европа», потому что там есть «узкие мощеные улочки», они меняют места причину и следствие. Львов — это «настоящая Европа» именно потому, что советский кинематограф когда-то был вынужден конструировать эту «настоящую Европу» на львовских (рижских и т.д.) реалиях. Так самый яркий визуальный маркер «инакости», «несоветскости» пространства, необходимый кинематографистам для создания образа Европы, стал восприниматься как обязательный маркер реального европейского пространства.

Третья тема, которая меня заинтересовала, некоторым образом пересеклась с моим интересом к утопии и утопическому мышлению. Миша Соколов в рамках своего проекта по изучению российской социологии предложил мне написать статью об особенностях советского социологического наследия. Когда я начала заниматься этой темой, то обнаружила следующий парадокс: в российском социологическом сообществе (по крайней мере, в некоторой его части) существует культ советских социологов и огромный интерес к их биографиям, однако этот интерес практически не распространяется на их научное наследие. Получалось, что у нас есть классики (то есть герои), но нет классиков (то есть текстов). Каким образом это получилось, чем была социология для самих советских социологов, в чем они видели ее задачи? Советская социология предлагала совершенно неочевидные (и тем интересные) ответы на эти вопросы. Одним из последствий выбранных ответов стало создание образа социологии, отличного от западного, но вполне объяснимого, если не забывать о том, что шестидесятые (время, когда появилась советская социология) были последним всплеском советского утопического проекта, то есть искренней веры в него некоторой части интеллектуальной элиты.

— **Интервью не место для дискуссий, и все же замечу, что «Человек и его работа», «Мир мнений и мнения о мире», «Человек после работы» — безусловная советская классика... по каким угодно критериям.**

— Меня она тоже очень волнует. И в случае «Человека и его работы» Вы правы, однако позволю себе привести следующих статических аргумент: современное цитирование работ трех признанных классиков советской социологии — Т.И. Заславской, Г.В. Осипова и В.А. Ядова. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) практически не содержит публикаций,

Распределение цитируемых в РИНЦ книг и статей классиков советской социологии по 5-летним периодам

| | До 1969 | 1970–1974 | 1975–1979 | 1980–1984 | 1985–1989 | 1990–1994 | 1995–1999 | 2000–2004 | После 2005 |
|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Заславская Т.И. | 8 | 9 | 6 | 17 | 23 | 69 | 81 | 140 | 58 |
| Осипов Г.В. | 14 | 0 | 19 | 0 | 2 | 23 | 73 | 91 | 70 |
| Ядов В.А. | 40 | 6 | 9 | 13 | 3 | 30 | 59 | 78 | 47 |

³ Основной проблемой при таком подсчете становятся дополненные и исправленные переиздания — должны ли они учитываться под тем годом, под которым вышли в нынешнем виде, или под тем, под которым книга появилась впервые? Является ли «Человек и его работа» 1967 года и «Человек и его работа» в СССР и после 2003 года одной и той же или разными книгами? В этой таблице они считаются разными книгами. При этом надо иметь в виду то, что единственными переиздававшимися книгами трех рассматриваемых авторов помимо учебных и справочных являются «Человек и его работа» и старые работы Т.И. Заславской, вошедшие в трехтомник 2007 года. Переиздававшаяся учебная и справочная литература («Социологические исследования» В.А. Ядова, «Социологический словарь» Г.В. Осипова) дали лишь очень небольшую долю ссылок (около пяти процентов в случае В.А. Ядова, около десяти процентов в случае Г.В. Осипова).

вышедших ранее 2004 года, так что распределение ссылок указывает на то, какие тексты советских социологов находят в поле зрения их современных коллег⁴. Вот таблица, в которой приводится распределение цитируемых текстов по пятилетним периодам.

Как видите, более двух третей всех цитирований приходится на тексты, опубликованные после 1995 года, при этом более половины всех ссылок — это ссылки на статьи и тексты докладов, а не на книги. Этот паттерн цитирования разительно отличается от того, который мы наблюдаем в зарубежной социологической классике двадцатого века. Там подавляющее большинство цитирований приходится на книгу (реже — статью), в которой автор впервые более или менее полно излагает свою теоретическую концепцию. Как правило, эта книга или статья пишется в начале академической карьеры, а вся дальнейшая работа рассматривается просто как комментарий к ней. Так, например, большинство социологов вряд ли смогут назвать хотя бы один текст П. Бергера и Т. Лукмана, кроме «Социального конструирования реальности», вышедшего, когда им обоим не исполнилось еще и сорока.

В случае советских классиков — за единственным исключением В.А. Ядова — их ранние работы были просто забыты. В центре внимания сегодня находятся не тексты, в которых они впервые очертили контуры какой-то концепции, или тексты, которые представляют собой образцы исследований, а актуальные комментарии к современному состоянию социологии и общества. Период «полужизни» публикации любого крупного российского социолога (стандартная мера в библиометрии, характеризующая период, в который текст собирает половину цитирований), судя по всему, составляет около пяти лет⁴. Исключениями являются «Человек и его работа» А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова и В.П. Рожина, а также последующие работы В.А. Ядова и его коллег по трудовой мотивации, которые продолжают активно цитироваться сегодня. Отметим, что тридцать пять ссылок из приходившихся на 2000-2005 годы являются ссылками на «Человека и его работу в СССР и после». За этим исключением советская социология не оставила ничего, хотя бы отдаленно напоминающего классику.

— Какие проекты были у Вас еще?

— Проектов было много. Я расскажу об одном из последних. Этот проект, который длится до сих пор, отличался от всех прочих в первую очередь тем, что был прикладным. В этот проект, идея которого принадлежала Олегу Хархордину, меня позвал Лев Шилов. Суть его состояла в следующем — опробовать новую форму участия горожан в распределении муниципального бюджета. Если демократические формы гражданского участия плохо работают, можно посмотреть, как будут работать формы альтернативной политической традиции — республиканской. Часть средств муниципального бюджета должна была распределить комиссия, состоящая из граждан, отобранных по жребию (по модели суда присяжных). Они должны были познакомиться с основами муниципального управления, получить консультации у чиновников и приглашенных экспертов, а затем прийти к общему решению, как и на что они хотят потратить выделенные средства.

Тогда, в 2012, году никакого проекта еще не было. Только смутное желание: делают же где-то такие отличные вещи, почему бы нам не попробовать. И мы стали пробовать: пытаться понять, каким мэрам мы можем это предложить, как отобрать

те города, которые будут участвовать в пилотном эксперименте, какая партиципаторная модель подойдет для России. Для нас это стало таким же новым опытом, как и для всех участников проекта — чиновников, горожан, представителей НКО и депутатов. И, конечно, все этого бы не случилось без участия Фонда Алексея Кудрина по поддержке гражданских инициатив, мэрий Череповца, Соснового Бора (Ленинградская область) и нескольких муниципалитетов Кировской области. Не то чтобы, начиная проект, мы не верили в его успех (хотя его провал для нас, по крайней мере, как для ученых, тоже был бы показателен), просто не думали об этом. Мы хотели узнать, будут ли работать некоторые республиканские практики в России, потому что если представительная демократия переживает кризис по всему миру, то нужно найти какие-то новые формы гражданского участия. Если политика теперь воспринимается не просто как игра, но как игра скучная и фальшивая, то, возможно, зрителям самим пора выйти на сцену. Если мы хотим что-то изменить, то, возможно, начинать следует с того, что мы можем здесь и сейчас — в той стране, в которой мы живем, с ее социальными, культурными и институциональными условиями.

Все попытки сделать что-нибудь совместно, которые мы наблюдали (от собраний собственников жилья до заседаний координационного совета оппозиции), блокировались тем, что наши соотечественники не умеют договариваться друг с другом. Не обвинять и защищаться, не жаловаться и спорить, а именно договариваться. В России практически отсутствует то, что можно называть «публичным языком», который подразумевает диалог.

Партиципаторные формы участия, которые включают в себя взаимодействие между местной властью и гражданами, как мы убедились на собственном опыте, позволяют такой язык выработать. Возможно, это не самый простой и не самый быстрый способ, зато он работает. Когда мэр не боится выделить один процент бюджета, для того чтобы горожане сами решили, как его можно потратить, когда горожане готовы вкладывать свое время и идеи в решение проблем, которые непосредственно их касаются, а чиновники выслушивают их мнение, то можно изменить много важных для всех вещей. Причем сделать это сейчас. Конечно, не только в каждом новом городе, но на каждом заседании бюджетной комиссии мы сталкивались с новыми, совершенно неожиданными для нас трудностями и проблемами. Нам очень повезло, что модератором наших первых бюджетных комиссий стала Таня Гребенщикова, которая с блеском справлялась со своей задачей — сделать так, чтобы двадцать человек разного опыта, разного возраста и с разными идеями смогли договориться не только друг с другом, но и с чиновниками.

— Есть ли у Вас интерес к преподаванию? Читаете ли Вы какие-либо спецкурсы?

— Я практически не преподаю. Единственное исключение — курс по социальной антропологии в Шанинке. Я благодарна Виктору Вахштайну, который предложил мне его прочитать. Этот курс позволяет мне общаться с разными и чрезвычайно интересными людьми, не считая того, что дает возможность на вполне легитимных основаниях перечитывать любимых авторов. Я не знаю, насколько полезен и интересен этот курс слушателям (хотя очень надеюсь, что хоть на сколько-нибудь), но он точно очень важен для меня.

⁴ Это опровергает возможную альтернативную гипотезу о том, что советские социологи не имели возможности представить свое видение общества в условиях советской цензуры. Если бы цензурные ограничения были решающими, мы могли бы ждать публикаций книг, давно выношенных втайне, в районе 1990 года, когда партийный контроль ослаб. Как мы видим из таблицы, ничего подобного не произошло.